

И. Первухина-Качишвиликова

**В. С. ПЕЧЕРИН
ЭМИГРАНТ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА**



**Наталья Михайловна Первухина-
Камышникова**
**В. С. Печерин: Эмигрант
на все времена**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=291522

В. С. Печерин: Эмигрант на все времена: Языки славянской культуры;

Москва; 2006

ISBN 5-9551-0118-7

Аннотация

Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885), поэт-романтик, демоническая фигура в «Былом и думах» Герцена, автор пародируемой Достоевским поэмы «Торжество смерти», «первый русский политический эмигрант» (Л. Каменев) и «один из первых русских интеллигентов» (В. С. Франк), русский католик, находивший опору в философии стоицизма, остался в памяти потомков, как он и мечтал, благодаря «одной печатной странице», адресованной России – автобиографическим заметкам, писавшимся в Ирландии в 1860—1870-е гг. и собранным в книгу «Замогильные записки. Apologia pro vita mea». В мемуарах Печерина отразилась история русской мысли всего XIX века, а созданный им автопортрет «лишнего человека» дополняет галерею образов классической русской литературы. Настоящее исследование посвящено анализу

сложного переплетения реального опыта Печерина с его представлениями о самом себе. Книга рассчитана на русского читателя.

Содержание

От автора	5
Предисловие	9
Часть первая	30
Глава первая	30
Глава вторая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

**Н. М. Первухина-
Камышникова
В. С. Печерин: Эмигрант
на все времена**

*Здесь, как в гробу, грядущее видней.
С. П. Шевырев*

*Так из дому рвутся, Как ты – домой!
Марина Цветаева*

От автора

Эта книга не появилась бы на свет без помощи многих людей. Я выражаю признательность Институту Кеннана при Международном Центре имени Вудро Вильсона и Исследовательскому центру Университета Теннесси за щедрую финансовую поддержку в подготовке этого издания. Моя глубокая благодарность работникам библиотек, где я работала: Ирине Леонидовне Великодной, заведующей отделом рукописей Библиотеки МГУ; Гарольду Лейху, руководителю секции немецких и славянских языков Библиотеки Конгресса в Вашингтоне; о. Франсуа Руло из Славянской Библиотеки

в Медоне; сестре Юджинии Нолан, историку, и сестре Терезе Брофи, капеллану больницы Богоматери Милосердия в Дублине, а также работникам отдела рукописей Британской Библиотеки.



В. С. Печерин

Я благодарна всем друзьям и коллегам, в разное время помогавшим своим участием в обсуждении моей работы. Это

Эрик Первухин, еще в 1970-е годы увлекший мое воображение загадкой личности В. С. Печерина и познакомивший меня с его редкими публикациями; это Георгий Горациевич Дурман, великодушно делившийся со мной своими обширными знаниями архивных материалов и литературы, связанной с Печериным; это коллеги, давшие мне ценные советы, – Ричард Темпест, Лев Лосев, покойные Раймонд Мак-Налли и Стивен Баер, внимательные и доброжелательные читатели – Лина Бернштейн, Джеймс Фейлен, Леона Токер, Мила Киржнер, Юлия Гинзбург, Александр Вентцель, Александра Раскина и Вера Мильчина.

Особенная благодарность Вере Кирилловой, моей спутнице по поездке в Дублин, составителю именного указателя, строгому и неустоимому читателю рукописи на всех стадиях ее превращения в книгу. Разумеется, все ошибки и недочеты остаются на моей совести.

Ссылки на опубликованные тексты Печерина даются по изданию: В. С. Печерин. Замогильные записки (*Apologia pro vita mea*) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников / Под ред. И. А. Федосова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1989. – (РО: страница). В книге использованы материалы, хранящиеся в архиве Ф. В. Чицова в Отделе Рукописей Российской Государственной Библиотеки (ОР РГБ, фонд 332). Ссылки на неопубликованные письма из этого архива отмечены датой в скобках. Часть переписки ирландского исследователя Эоина Мак-Уайта и Виктора Се-

меновича Франка, в течение многих лет изучавших жизнь Печерина, хранится в отделе рукописей Британской Библиотеки – Pecherin Papers, Add. 59672—59676. Ссылки на материалы этого архива, оказавшегося неоценимым для моей работы, указаны в скобках – (Pecherin Papers, номер листа). Фотографии из этого архива воспроизводятся по лицензии, выданной Британской Библиотекой.

Правописание приближено к современным правилам. Все подчеркнутые в оригинале слова выделены курсивом, мой курсив специально оговаривается.

Предисловие

Для русской культурной и общественной жизни характерно существование определенных культурных кодов, сигналов, которыми обмениваются современники для узнавания единомышленников в атмосфере ограничений политического или эстетического дискурса. В разные эпохи такими сигналами служили разные имена и понятия. Известно высказывание Ходасевича о Пушкине, именем которого перекликаются русские в наступающем мраке. Традиция «перекликаться» именем восходит ко времени рождения общественной мысли в России. Люди 1830-х годов – Герцен, Огарев, Грановский, Аксаковы, Хомяков, Станкевич, Шевырев – принадлежали к поколению, для которого паролем было имя Шиллера. Но и сами они превратились в символ для нескольких следующих поколений. В каждом кругу современников одно и то же имя может использоваться с разным смысловым наполнением. Одним из таких имен-сигналов стало имя Владимира Печерина, служившее опознавательным сигналом для тех, кто рассматривал эмиграцию из России как политический и экзистенциальный жест¹.

¹ На значение Печерина в интеллектуальном багаже советских диссидентов 1960—1970-х годов указал ирландский исследователь Эоин Мак-Уайт, специалист в области русской и польской литературы. Он был также культурным атташе ирландского посольства в Гааге. Имея доступ ко всем европейским архивам,

Печерин (1807–1885) выехал из России в июне 1836 года, уехал на заре великолепной профессиональной будущности. Незадолго до этого он вернулся из-за границы, где провел два года в составе группы молодых ученых, посланных в Германию для подготовки к профессорской деятельности на родине. Вернувшись, получил место профессора Московского университета, где с успехом прослужил одно полугодие. Появление новых молодых преподавателей, имевших светлое влияние на студентов, вызвало значительные перемены в университете, но Печерин их уже не увидел. Он не успел стать посетителем знаменитого салона А. П. Елагиной (1789–1877), переживавшего расцвет в тридцатые годы в известной степени благодаря новым лицам – вернувшимся из-за границы молодым профессорам. В этом доме они встречались с Киреевскими, здесь бывали Гоголь, Герцен, Огарев, Самарин, Аксаковы, Сатин. Ничего этого Печерин уже не знал. В России ничто его не привлекало, ни к чему не лежало сердце. Он уехал за несколько месяцев до появления в «Телескопе» «Философического письма» Чаадаева (1836),

Мак-Уайт сумел проследить историю множества лиц, упоминаемых Печериным, нашел архивные материалы и документы, уточняющие существенные события его жизни. Внезапная смерть прервала работу Мак-Уайта (как заметил Печерин, «никому из тех, кто любил меня, не посчастливилось» (РО: 168), книга осталась ненаписанной, но материалы к биографии были опубликованы посмертно (E. MacWhite. V. S. Pecherin (1807–1885) // A Progress Report and Bibliography / Ed. and prep. for publication by P. J. O'Meara, Proceedings of Royal Irish Academy. Vol. 80c. 1980. P. 109–158. Ссылки на это издание в тексте: (Мак-Уайт 1980: страница).

выразившего «европейский взгляд» на противопоставление России и Европы, намеченное еще в царском манифесте от 13 июля 1826 года. Письмо Чаадаева послужило сигналом к расколу между прежними единомышленниками, между сторонниками разных путей к достижению общего идеала социальной и культурной гармонии в России. Печерин явил собой крайний пример «западника» до возникновения этого понятия.

В отличие от большинства русских путешественников, в которых соблазны Запада вызывали смесь восхищения и отталкивания, обостряя приверженность к русскому образу жизни, к русскому складу ума, пробуждали уверенность в особом предназначении России и ее блестящем будущем², Печерина пленил именно индивидуалистический дух Запада, а не только музейные красоты, активная общественная жизнь, мягкий климат и легкость повседневности. Он был потрясен общепринятым уважением к личному достоинству человека, тем чувством внутренней свободы, которое он наблюдал в поведении любого крестьянина или ремесленника, и вытекающим из него понятием равенства и граждан-

² Например, не мыслящие себя вне России современники Печерина – Д. Н. Ознобишин (1804–1877), блестящий лингвист и поэт; историк литературы и поэт С. П. Шевырев (1806–1860), проживший в Италии с 1829 по 1832 год и вернувшийся в Россию исполненным духа крайнего славянофильства; Д. Ю. Струйский (Трилунный) (1806–1856), как Печерин, исходивший пешком в течение двух лет (1833–1835) те же страны – Италию, Швейцарию, Францию, Германию и так же опьяненный заграничными впечатлениями, но доживший до конца жизни на родине.

ства. Прежде с трудом выносимое в России – стало нестерпимым. Ни на кого из участников побывавшей за границей группы молодых профессоров европейский опыт не произвел такого сокрушительного воздействия. Печерин не участвовал в страстных спорах сороковых годов между западниками и славянофилами. Он идеологически не «определился» по отношению к России, он бежал за несколько лет до того, как внутрироссийская ситуация, культурные и общественные условия николаевского правления были достаточно осмыслены. Когда одиннадцать лет спустя, в 1847 году, Александр Герцен покидал Россию, он уже пережил гонения правительства, ссылку, был свидетелем ужесточения режима и все равно уезжал не без надежды на возвращение, уезжал с семьей, с известным комфортом. Печерин бежал с ничтожными средствами, гонимый не правительством или угрожающими обстоятельствами, а только внутренним порывом, своим «демоном», имя которого – мысль (РО: 174). Самовольная попытка «сменить судьбу», сознательное избрание эмиграции вне условий непосредственной жизненной опасности спустя сто пятьдесят лет стало участием десятков и сотен тысяч участников эмиграции массовой. Психологический склад личности Печерина, подвижность его воображения, предвосхитившая рефлексию русской интеллигенции конца века, лишают его образ привязанности только к своему времени, он русский эмигрант на все времена. Печерин прожил жизнь не столько того, девятнадцатого, сколь-

ко другого века, двадцатого. Его автобиографические заметки и письма могут служить учебником психологии русского эмигранта. Многие переживали такой же поворот сознания, что и Печерин: избрав для себя добровольное бегство, эмигрант начинает ощущать себя не беглецом, а изгнанником. Универсальность судьбы Печерина заключается в том, что его внутренняя, казалось бы столь не похожая ни на какую другую, жизнь оказалась выражением и духа времени, и вневременного национального характера.

В юности он мечтал «о подвигах, о доблести, о славе», к старости эти мечты приняли форму одного желания: «Оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина» (РО: 311). Этой идеальной «страницей» предназначено было стать автобиографическим заметкам, которые Печерин писал в шестидесятые и семидесятые годы, понимая, что читателями его будут сначала только близкие друзья, но адресуя свои записки «прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят» (РО: 168). Печерин надеялся на то, что «русское правительство в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки через какие-нибудь пятьдесят лет, т. е. в 1922 году» (РО: 168), но достаточно долгий период либерализма наступил только через сто с лишним лет после его смерти, когда в 1989 году автобиографические записки Печерина были опублико-

ваны под заголовком «Замогильные записки» (*Apologia pro vita mea*)³.

Имя Печерина не было совершенно забыто. Несмотря на свою маргинальность, Печерин незримо присутствовал в истории русской культуры как объект жгучего интереса – сначала в среде современных ему литературных кругов, а впоследствии со стороны читающей публики. Ввел Печерина в русское общественное сознание Александр Герцен. Среди огромного числа лиц, иногда необычайно подробно, иногда быстрым очерком пера обрисованных им в «Былом и думах», упоминается имя Печерина. Что же узнавал о Печерине читатель мемуаров Герцена? Характеризуя эпоху 30-х годов XIX века, Герцен рисует картину, которая спустя более столетия станет заново привычна русскому читателю:

В тридцатых годах, (...) опьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом; кругом глушь, молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг, от него отворачивались или оскорбляли его. Печерин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства, им овладел ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во что бы то ни стало из этой проклятой страны (Герцен XI: 391–392).

³ Об истории публикации отдельных отрывков из мемуаров Печерина будет говориться ниже.

Дальнейшая судьба Печерина была таинственна и непонятна. То, что профессор классической филологии Московского университета хотел «бежать из этой проклятой страны», советский человек понять мог. Но почему на Западе он перешел в католичество, да еще стал монахом, иезуитом, как ошибочно, следуя Герцену, думали его читатели, было для них так же непостижимо, как и для друзей, современников Печерина, знавших о его равнодушии к религии. Более того, радикальное отрицание Печериным российского самодержавного мироустройства должно было сближать его взгляды с позицией герценовского кружка, о котором Герцен писал: «Мы дети новой России, вышедшие из университетов и академий, мы, увлеченные тогда блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие» (Герцен IX: 236–237. Курсив мой. – Н. П.). Поэтому смена «религии», лишь недавно оставленной, другой воспринималась как отступничество. Дальнейшая судьба Печерина в течение многих лет оставалась в России совершенно неизвестной, знали только о существовании загадочного русского беглеца, мрачного католического монаха, автора кощунственных строк:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья.
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья! (РО: 161)

Пафос этого стихика находил отзыв у людей, видевших в

нем призыв к уничтожению тирании, пронизывавшей всю государственную систему. Парадокс заключался в том, что системы в каждую эпоху бывали разные, а неприятие системы легко переводилось на любую современную реальность.

Вдумчивый читатель хотел узнать больше. Ходили слухи, что когда-то были опубликованы какие-то «Записки» самого Печерина. История публикации текстов Печерина и материалов о нем, неотделимая от политического климата России, по какой-то роковой причине всегда для него неблагоприятного, представляет особый интерес. Сам характер его записок связан с возникавшими и гаснувшими надеждами на их публикацию. Они являлись частью его переписки с несколькими лицами, главным из которых был его университетский друг Федор Васильевич Чижов (1811–1877). Избранные места из их переписки Чижов предложил М. М. Стасюлевичу, редактору толстого журнала «Вестник Европы», после смерти которого в архиве журнала их обнаружил М. К. Лемке. В 1915 году мемуарные отрывки и письма Печерина опубликовал в «Русских пропилеях» М. О. Гершензон⁴. До этого, в 1910 году, он написал беллетризованную биографию Печерина⁵, которая до сих пор остается существенным источ-

⁴ М. Гершензон. Автобиография В. С. Печерина // Русские пропилеи. Т. I. Материалы по истории русской мысли и литературы / Собр. и подгот. к печати М. Гершензон. М.: Издание М. и С. Сабашниковых. 1915.

⁵ М. Гершензон. Жизнь Печерина. М.: Путь. 1910. Гершензон опубликовал очерк о Печерине в сокращенном виде как вторую главу книги «История молодой России» (М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина. 190В). Все ссылки на «Жизнь Пече-

ником наших сведений о Печерине. Основной же корпус печеринских материалов находился в составе архива Чижова, в соответствии с волей его наследников закрытого для использования по роковому совпадению дат до ноября 1917 года. Только в начале 1920 года⁶ Гершензон получил к нему доступ. Смерть в 1925 году прервала его работу по изданию заметок Печерина, но в 1932 году под редакцией и со вступительной статьей Л. Б. Каменева вышла небольшая книжечка, составленная на основе переписки Печерина, приведенной в соответствие с хронологией биографии, и озаглавленная редактором по названию одного из отрывков «Замогильные записки». Последовавший в 1936 году арест Каменева и его казнь в 1938 году не способствовали распространению издания, несмотря на то, что по обычаю времени, предисловие с именем редактора было в большинстве экземпляров вырвано. Более полное и корректно составленное издание с комментарием С. Л. Чернова появилось только в 1989 году в составе сборника мемуаров «Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи». Произошло это именно в такой период «перемежающегося либерализма», который предсказывал Печерин, понимая, что «тогда это уже будет ужасная старина

рина» (Гершензон 2000: страница).

⁶ После революции деятельность Чижова в русской культурной и хозяйственной жизни на долгие годы оставалась в забвении, только в 1980-х годах стали появляться работы И. Симоновой, завершившиеся книгой Федор Чижев. М.: Молодая гвардия, 2002. Исследованиям И. Симоновой я обязана сведениями о Чижеве, приводимыми в дальнейшем.

– нечто вроде екатерининских и петровских времен, времен очаковских и покоренья Крыма» (РО: 168). Так и произошло. Публикация, которая стала бы общественным событием еще за три-четыре года до этого, прошла незаметно, книга долго не раскупалась. Кажется, что какое-то темное облако охватывает всех, кто пытается приблизиться к этой загадочной, трагической фигуре.

Внешние события жизни Печерина известны достаточно хорошо. Он родился 15 (27 н. ст.) июня 1807 года в маленькой украинской деревушке Дымерка, в семье мелкопоместного дворянина, поручика Ярославского пехотного полка, Сергея Пантелеевича Печерина (1781–1866). Отец, так же как и мать, Пелагея Петровна, урожденная Симоновская (?—1858), был польского происхождения, но православного вероисповедания. Прадед Печерина был сначала лакеем при дворе Елизаветы Петровны, но дослужился до звания обермундшенка («старшего виночерпия»), соответствовавшего по Табели о рангах военному чину генерала и гражданскому чину действительного статского советника. Потомки его до таких чинов больше не дослуживались.

Детство Печерина прошло в захолустных гарнизонных городишках юго-запада империи. Воспитание и образование его было типичным для поколения начала 1800-х годов. Реальность крепостнической действительности приходила в столкновение с уроками иностранных гувернеров, разжигавших воображение своих учеников разрозненными идеями

французских энциклопедистов, революционной риторикой и пылкими призывами к свободе, почерпнутыми в произведениях Жан-Жака Руссо, Фридриха Шиллера, во французских романах и у немецких драматургов, жадное чтение которых компенсировало их неподобающим отсутствием продуманной системы образования. В 1825 году, за несколько месяцев до декабрьских событий, восемнадцати лет от роду, Печерин покидает родной дом, как окажется, навсегда, и приезжает в Санкт-Петербург. Здесь он сначала служит мелким чиновником, а в 1829 году становится студентом филологического факультета университета. Сразу же проявились его незаурядные способности к языкам, позволившие ему добиться заметных успехов в области классической филологии. В 1831 году он заканчивает университет, один из всего выпуска получает степень кандидата и место лектора по кафедре классических языков. Печерин занимается переводами, пишет стихи и научные статьи, посещает собрания студенческого кружка «святая пятница», собиравшегося у А. В. Никитенко (1805–1877). Там студенчество спорило об искусстве, философии, политике в духе либеральном, но не радикальном.

В 1833 году Печерин был зачислен в состав группы молодых профессоров, отправленных в Берлинский университет для подготовки к профессорской должности на родине. Два года Печерин пробыл за границей, слушал лекции немецких профессоров, изучал Гегеля, путешествовал по Германии,

Швейцарии, Италии. Дух свободы, красоты античных древностей, сладостный воздух юга, добродушие и веселость итальянцев пленили его сердце. Как ни критически относился Печерин к действительности николаевской России до поездки, возвращение в удушливую атмосферу покорного чиновничества, светских условностей, предписанного лицемерия сделало для него жизнь здесь нестерпимой. Вскоре Печерин испрашивает отпуск в Берлин и сознательно и навсегда покидает Россию.

Впоследствии одной из многочисленных причин, заставивших его «бежать из России, как бегут из зачумленного города», он назовет «страх России или, скорее, страх от Николая» (РО: 261). Его гонит страх рабства и жажда свободы, стремление участвовать в ее приближении. В течение четырех лет он скитается по Европе, знакомится как с теориями, так и с реальной деятельностью европейских революционных кружков. Поступок его друзьями не одобряется, но он им понятен. Затем в 1840 году, в Льеже, следует его необъяснимое обращение в католичество, принятие монашеского сана, вступление в орден редемптористов (орден Искупителя). По окончании искуса в 1841 году Печерин переводится в семинарию в Виттем (Голландия), где преподает историю, греческий и латинский языки. Вскоре ему поручают прочесть проповедь на немецком языке, во время которой обнаруживается его проповеднический дар. В соответствии с уставом ордена, основным призванием редемптористов яв-

ляется миссионерская деятельность среди бедняков. С 1845 по 1854 год Печерин служит в Англии, сначала на юго-западе, в Фальмуте, а затем в Лондоне, в беднейшем городском квартале Клапам. В 1853 году его там посещает Герцен, после чего между ними завязывается краткая, но чрезвычайно интересная переписка, опубликованная Герценом в первом издании «Былого и дум».

В 1854 году Печерина переводят в редемптористскую обитель в Ирландии. Дальнейшие события можно описать в нескольких словах: шесть лет миссионерской деятельности в католической стране, завоеванной протестантской Англией, в стране, едва приходящей в себя после голода, унесшего за четыре года, с 1846 по 1850, миллион жизней и изгнавшего из страны свыше двух миллионов человек. Печерин становится одним из популярнейших проповедников Ирландии, но внезапно он оставляет орден, отказывается от монашеского сана, сохраняя только священнический, и с 1862 до последних месяцев жизни в 1885 году служит капелланом в больнице Богоматери Милосердия (*Mater Misericordiae*) в Дублине.

Именно в эти годы, лишённые каких-либо примечательных внешних событий, он живет наиболее насыщенной, мятежной и творческой внутренней жизнью, завязывает переписку с оставшимися в России друзьями, легшую в основу будущей автобиографической прозы, переписку, обеспечившую ему «память на земле русской». История жизни и

мысли Печерина обрела единство в оставленных им мемуарах, литературные достоинства которых позволяют разглядеть в казалось бы непритязательных автобиографических заметках тщательно продуманный и блистательно выполненный проект создания собственного образа. Это образ заведомо маргинального, узнаваемо «лишнего человека», который, тем не менее, оказался архетипической фигурой русской интеллектуальной истории. Поэтому интерес представляет не только и не столько удивительная на первый взгляд история жизни Печерина, в которой он «разыгрывал всевозможные роли» (РО: 149), сколько те особенности его внутреннего мира, которые вводят его в круг авторов и, одновременно, персонажей русской литературы.

Печерин узнал о своем вступлении на русскую историческую сцену, получив от Герцена главы «Былого и дум», посвященные его персоне, опубликованные в шестой книге «Полярных записок» за 1861 г. Герцен, прежде не знакомый лично с Печериным, в марте 1853 года посетил его в монастыре в Клапаме. Он надеялся получить неизданные прежде стихотворные произведения Печерина, но еще больше он был заинтригован возможностью увидеть воочию таинственного беглеца, сменившего, по его мнению, одну могилу, николаевскую империю, на другую – католический монастырь. В письме М. К. Рейхель он пишет: «На днях я узнал, что известный Печерин здесь в иезуитском монастыре. (...) Меня он страшно интересуется, вы слышали об нем от Грановск(о-

го)» (Герцен XXV: 30). Встреча состоялась 21/9 марта: «Меня привели в *parloir*, и явился пожилой поп в сутане и в шапке с гренками сверху и спросил, что мне надо. – *Rev(erend) Pather* Печ(ерин). – Я Печерин, – сказал он. – Ну, потом длинный разговор, он меня расспрашивал об московских, что-то ему было неловко, как будто стыдно, живет он почти всегда в Ирландии на миссии. – Вы не сердитесь, – сказал я ему, – что я у вас был, я не знаю, хорошо это или худо. Но потребность сердца звала меня увидеть русского эмигранта, в другом стану стоящего (...) И рукопожатия, и мы расстались – мне его жаль, он совсем не так счастлив о Христе и потерян» (Герцен XXV: 31–32). Герцен явился на это свидание, уверенный в крайне реакционном характере католической церкви, которую он в целом не отделял от ордена Иисуса. Иезуиты, члены Иисусова Братства, после сорокалетнего пребывания в России были изгнаны в 1814 году указом императора Александра I, и, как большинство не-католиков, Герцен не подозревал о враждебном отношении внутри католической церкви к иезуитам, не знал сложной истории ордена и использовал понятие «иезуитский» в ставшем нарицательным смысле – «хитрый и лицемерный». Как окажется, Герцен не догадывался о подлинных чувствах Печерина, вызванных этой встречей. Об участии Печерина у него было заранее сложившееся мнение. И сама встреча, и рассказ о ней нужны были Герцену как еще одно доказательство преступлений николаевского режима. Печерин выступал в роли

жертвы, особенно трагической из-за того, что приведенные в «Былом и думах» письма свидетельствовали о силе его интеллекта и высоких душевных помыслах. Чтение этой прижизненной эпитафии было для Печерина если не оскорблением, то во всяком случае вызовом, приглашением к диалогу. Писавшиеся им с 1865 по 1870 годы автобиографические заметки в значительной степени стали своеобразным ответом Герцену, его версией собственной судьбы⁷. Он доказал, что, по выражению Ю. М. Лотмана, «имеет право на биографию, а не только на эпитафию» (Лотман 1992: 365).

Мемуары – это всегда попытка поправить реальность, придать своей жизни телеологическое содержание, без которого возникает ощущение утраты жизненного смысла. Созданием литературной биографии мемуарист не только для себя стремится определить свое исключительное жизненное предназначение, найти смысл или хотя бы намекающий на него определенный «пэттерн» своей судьбы, но убедить в его существовании читателя. В зависимости от намерения и таланта мемуарист создает литературное произведение, в котором факты могут быть не искажены, но события и характеры так отобраны, поданы и освещены, что их описание, теряя в исторической ценности, приобретает ценность художественной реальности. Об этом пишет Л. Я. Гинзбург, предостере-

⁷ «Непосредственное и сильное воздействие» автора «Былого и дум» на «Замогильные записки» отметила Е. М. Пульхритудова (1976: 201). Но это была скорее дань обязательной привязке политически сомнительной фигуры к идеологически безупречному авторитету.

гая от не критического использования «Былого и дум» в качестве «фактического первоисточника», поскольку, несмотря на авторскую ответственность за фактический материал, «действительность «Былого и дум» – это действительность построенная» (Гинзбург 1997: 38–39). Чисто художественная природа оставленных Печериным записок не получила должного освещения в работах о нем. Но главное, остается без внимания такой важный фактор, как направленность автобиографических заметок Печерина. Если при анализе любой автобиографии необходимо принимать во внимание воображаемую автором аудиторию, то в случае Печерина, так же как и Герцена, это соображение принципиально. Обращаясь ко всему человечеству: к современникам – Герцен, к потомкам – Печерин, каждый из них рассчитывает и на конкретного адресата, на довольно узкий круг знакомых. Без понимания задач и намерений Печерина при написании им своих «заметок», которые он сам называет «апологией жизни», остается совершенно непонятной его высокая репутация в ирландских католических кругах и тот интерес к его судьбе и ее значению, который по-разному, но достаточно интенсивно ощущается и в Дублине и в Москве.

Многое озадачивает в воспоминаниях Печерина. Почему лишь мельком он упоминает восстание 14 декабря 1825 года, непосредственным свидетелем которого был, находясь в это время в Петербурге? Как объяснить странно легкомысленное, как-то залихватски описываемое обращение в католи-

чество? Самое удивительное – это почти полное отсутствие каких-либо сведений об Ирландии, переживавшей в те годы последствия национальной катастрофы, сжигаемой националистическими страстями, поглощенной освободительной борьбой, отсутствие интереса к стране, в которой он не просто прожил свыше двадцати лет, но оставил по себе добрую память среди бедного городского люда, заслужил уважение образованных современников, где его могила стала исторической достопримечательностью. Все эти вопросы заставляют обратиться к литературной природе задуманных и не завершенных Печериным воспоминаний. Какова история их создания, кому и когда они адресовались, какие литературные особенности сделали эту маленькую книжечку образцом русской прозы девятнадцатого века? Почему многие люди, придерживающиеся часто противоположных воззрений, находят в записках Печерина подтверждение своим мыслям о русской истории, об отношениях между Россией и Западом, об опыте эмиграции? Каждый читатель может найти у Печерина то, что хочет увидеть. В этом отношении Печерин странным образом напоминает Герцена, которого напряженная умственная деятельность, интеллектуальная честность и бескомпромиссность заставляли отказываться от многих взглядов и мнений, прежде страстно отстаиваемых.

Как и Герцен, Печерин называет свои автобиографические воспоминания «записками», очевидно предпочитая жанровую свободу. Интересно сравнить текст непосред-

ственно мемуарных заметок и писем, адресованных Чижу после того как, потеряв надежду на публикацию, Печерин перестал прилагать к письмам «художественные отрывки». Письма Печерина так передают устную речь, так насыщены живыми примерами, историями, рассказами о людях, мнениями о текущей политике, состоянии церкви, искусстве, образовании, полны такого чувства и мысли, иронии, скептицизма, восхищения, что их включение в мемуарный корпус почти незаметно.

В этой книге я хочу соединить рассказ о жизни, творчестве и духовном пути Печерина с комментарием к тому времени и к тем обстоятельствам, когда он, после почти тридцатилетнего разрыва связей с Россией, возобновил отношения с русской интеллигенцией в лице ее ярких и талантливых представителей – с А. Герценом, И. Аксаковым, А. Никитенко, Ф. Чижевым. Поэтому хронологическая последовательность изложения сопровождается постоянными ссылками на время, в которое Печерин пишет тот или иной текст, а также на адресата, которого он видит перед собой в момент написания.

Печерин писал мемуары с разными перерывами в течение десяти лет, с 1864 по 1874 год, письма же кончаются более поздней датой, последнее, помеченное январем 1878 года, вернулось к Печерину после смерти его последнего корреспондента, Чижова. Внутрицерковная переписка Печерина опубликована лишь частично, так же как и переписка с рус-

скими эмигрантами, католиками – отцом Иваном Гагариным и Петром Козловским.

Когда знакомишься с этими письмами, кажется, что перед нами две совершенно разные фигуры – Владимир Сергеевич Печерин и Pater Petcherine. «Русский» Печерин кажется старым знакомым. Его устами рассказывает о себе русский интеллигент 30—40-х годов XIX века, умственные интересы, душевные порывы, взрывы восторга и приступы отчаяния, надежды и разочарования которого знакомы по произведениям Карамзина, Лермонтова, Герцена, по романам Тургенева. Особенно большое место занимает печеринско-герценовский тип в романах Достоевского. Если с Герценом Достоевский был знаком лично, то Печерин предстал перед ним в том демоническом облики, которое передал ему Герцен – как в «Былом и думах», так и при одной из личных встреч в 1862 году, в Лондоне. Если бы Печерина не было, Достоевский должен был бы его выдумать, настолько полно эта личность выражала конфликты своего времени и поколения. Кажется, что это о Печерине пишет Достоевский, когда в примечании вымышленного автора к «Запискам из подполья» он замечает, что такие лица «должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество» (Достоевский V: 99). Но что отличало «русского» Печерина от «ирландского Pater Petcherine», как именно личность, сформировавшаяся в России Николая I, развивалась в иной среде,

что сохранилось в его душе от прошлого? Для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, необходимо обратиться к лицам и литературным персонажам, создавшим культурный фон, на котором выступает Печерин, к той почве, или, правильнее сказать, к тому воздуху, который его породил. Самое интригующее в личности Печерина – это сочетание маргинальности и одновременно типичности его в русской культуре. Печерин и сам это понимал и надеялся, что оставленная загадка привлечет любопытство потомков: «Какое необходимое сцепление микроскопических нравственных и физиологических атомов произвело сплошную цепь моей жизни – это достойный предмет для философских исследований» (РО: 235).

Часть первая

Россия: «Я не хотел быть подданным Николая»

Глава первая

«Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию»

Перефразируя Толстого, можно сказать, что детство Печерина было самое простое и обыкновенное, но самое ужасное. Во всяком случае, именно сочетанием обыденности и уродства предстает оно в его автобиографических заметках. Чтобы увидеть в обыкновенном ужасное, надо иметь особую, отличную от других точку зрения. Печерин описывает свое обыкновенное детство как ужасное для того, чтобы объяснить причины, определившие его исключительную судьбу. Составленная на основании его заметок и писем книга «Замогильные записки» довольно четко делится на две части. Первая состоит исключительно из автобиографических заметок, в которых он описывает свое детство, юность, жизнь в России до побега в 1836 году. Условно эту часть можно назвать «Детство, отрочество, юность». Сначала свои авто-

биографические опыты Печерин стал посылать племяннику, Савве Федосеевичу Пояркову, жившему в 1860-е годы, как и родители Печерина, в Одессе. В дальнейшем его основным корреспондентом будет Федор Васильевич Чижов; ему он опишет историю своего обращения в католичество и будет перемежать воспоминания постоянными ссылками на события сегодняшнего дня.

Печерин писал свои заметки в основном в 1865–1874 годах, после появления в русской литературе «Детства» (1852) Толстого, после вскоре последовавшей за ним книги С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова внука» (1858). Вряд ли Печерин был к тому времени знаком с этими произведениями, но первые части «Былого и дум» он прочитал в 1862 году. О сопутствующей этому чтению переписке с Герценом я буду говорить в дальнейшем. В русской литературе существует два основных типа автобиографического, или, следуя терминологии Эндрю Вахтеля, псевдоавтобиографического повествования о детстве: один рисует идеализированную картину, полную радостных и светлых воспоминаний, другой воссоздает подавляющую атмосферу, в которой растет и созревает страдающий от одиночества и непонимания герой⁸.

⁸ См.: Andrew Varuch Wachtel. *The Battle for Childhood. Creation of a Russian Myth*. Stanford University Press, 1990. Псевдоавтобиографией Вахтель называет «повествовательную форму, соединяющую непосредственность автобиографии с творческой свободой романа». Псевдоавтобиография, в отличие от автобиографии, основанной на диалоге между прошлым и настоящим, «открывает более широкие возможности для полифонических связей между автором, рассказчи-

Печерин безусловно принял все жанровые условности второго рода «псевдоавтобиографии». Классические примеры светлого мифа детства созданы Толстым и Аксаковым. Ни один русский автор, обращаясь к теме детства, не мог не принять их за отправную точку. Мемуары Герцена на этом фоне выступают некоторым диссонансом, хотя общая картина не так мрачна, как в воспоминаниях Печерина.

В беллетризованных воспоминаниях детства позиция повествователя зависит не так от объективных обстоятельств, от уровня благополучия или бедственных условий, в которых прошло его детство, как от того образа, который он намеревается создать, от творческих задач, которые он осуществляет. Интересно, что идущий от поместно-усадьбы жизни русского дворянства, существующий только в русской литературе миф идиллического детства продолжал доминировать в автобиографической и псевдоавтобиографической прозе спустя десятилетия после исчезновения и усадеб, и дворянства. Большинство мемуаристов стремится следовать классической аксаковско-толстовской традиции, стараясь выделить наиболее светлые мгновения детства, даже если оно пришлось на годы войны, сиротства и лишений. Невинность и открытость детства должны подчеркивать суровый контраст с жесткой реальностью созревания. Традиция, идущая от Герцена, следует романтическому подходу к личности; не исключая светлых эпизодов, автор создает

фон унылой, угнетающей обстановки семьи, общества, эпохи, требующей от героя титанических усилий для преодоления препятствий, внешних или внутренних. Как правило, отказ от мифа счастливого детства был одним из актов отрицания общественной системы. Представители этого направления либо осуждали свой привилегированный класс, либо, не принадлежа к нему, как М. Горький, полемически развенчивали миф идиллического детства. Отдельный вопрос, в какой степени несчастливое детство повлияло на развитие их радикальных идей, а в какой – идеологическая позиция отразилась на репрезентации собственного детства. С литературной точки зрения, образ несчастного детства неотъемлем от романтического отношения к личности героя, с малых лет обреченного на одиночество среди людей и непонимание толпы.

* * *

Происхождение, общественное и финансовое положение, уровень образования семьи Печерина и Герцена совершенно несопоставимы. Тем не менее, поражает сходство тех факторов, которые они сочли необходимым выделить как наиболее существенные. Это отношения с отцом, роль матери в семье, остро ощущаемое одиночество, влияние иностранного гувернера, и главное – власть литературы, в непропорционально огромной степени определявшей представление

юных героев о мире и о своем в нем месте.

В «Былом и думах» Герцен так расставляет акценты, так выделяет одни и исключает другие детали, что, не отступая от фактической точности, переплавляет черты реальных исторических персонажей и многочисленных современников в художественные образы. У него Чаадаев – революционер, Печерин – живой труп. Герцену было необходимо представить свою жизнь, в частности, детство, таким образом, чтобы показать, каких героических усилий ему стоило преодолеть пороки тепличного воспитания, давящую обстановку дома, в котором все, от матери до слуг, трепетали капризного, язвительно-умного и холодного отца, преодолеть всю гнетущую атмосферу николаевского режима⁹.

«Былое и думы», в которых нет вымышленных персонажей и придуманных коллизий, – это не просто блистательно написанные воспоминания, а гигантское письмо, обращенное к современникам, письмо, которое Герцен справедливо считал общественным поступком. Каждое событие личной жизни является в глазах Герцена фактом исторического значения. Представление о себе не только как о действующем лице, а как о герое исторического действия, глубокая уверенность в том, что личная судьба имеет исключительное общественное и историческое значение, было характерно не толь-

⁹ Утверждение Герцена о том, что «эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было» в жизни И. А. Яковлева (Герцен VIII: 86) опровергает новая публикация: Тартаковский 1997.

ко для Герцена, но и для многих представителей этого поколения, опьяненного духом романтизма.

Печерин также, не греша против фактической точности, организует свое повествование с учетом того художественного воздействия, которое оно должно иметь на читателя. Он с еще большей, чем Герцен, сосредоточенностью обращается к тем отрицательным элементам среды и воспитания, которые сделали его таким, каков он стал. Много писали о том, насколько значительно начало «Былого и дум», в котором Герцен повествует о своем символическом «участии» в войне с Наполеоном. Он основывает свой рассказ на историях, поведанных его няней, поскольку в дни наполеоновского нашествия он был грудным младенцем, которого французский солдат вырвал из рук у кормилицы, ища спрятанные деньги или бриллианты, но для Герцена важно то, что он «принимал участие в войне», утверждение своего присутствия на исторической сцене (Герцен VIII: 16).

Печерин начинает свои записки тоже с событий 1812 года, но события эти имеют для него другую ценностную шкалу. Герцену важно сделать упор на «отражении истории в человеке» (Герцен X: 9), Печерину – «описать постепенное, медленное, многосложное развитие духа» (РО: 148). Там, где для Герцена на первое место выступает история, для Печерина – психология.

Первая запись, датированная 13 октября 1865 года, представляет собой один коротенький отрывок. В нем фиксиру-

ются самые важные для него события 1812 года. Какие же это события?

Русско-турецкая война 1808–1812 годов привела по условиям Бухарестского соглашения к присоединению к России расположенной в устье Дуная крепости Килия. Печерин начинает свои воспоминания этим эпизодом. Стиль этой первой записи довольно резко отличается от всех последующих, удивляя лаконизмом и наглядностью. Нигде в дальнейшем у Печерина не встречается такая по-пушкински «нагая проза»:

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там, бывало, с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты: это был размен пленников (РО: 148).

Самой поразительной особенностью писательской манеры Печерина, о которой будет много говориться дальше, является его стилистическая мимикрия, способность имитировать или, вернее, воссоздавать стиль, характерный для разных русских авторов, в зависимости от эпохи, которую он описывает, от того, какая манера письма наиболее свойственна

данному периоду, а также от того конкретного адресата, кому направлено письмо с автобиографическим отрывком.

Первая прочитанная книга – переведенные с немецкого «Сто четыре священные истории Гибнера» (РО: 149) – определила, по утверждению Печерина, всю его внутреннюю жизнь. Описывая потрясающее впечатление, произведенное на него рассказом о смерти Спасителя, в одной фразе Печерин сумел передать основные мотивы всех своих дальнейших поступков, связать воедино побуждения, свойственные не только ему лично, но знакомые многим представителям поколения русских романтиков, созревавших в первой трети XIX века:

Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо отечества и видеть мать, стоящую у подножия моего креста, – было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на всю остальную жизнь! (РО: 149).

В освободительных мечтаниях романтического поколения жажда смерти, продиктованная уверенностью в том, что благо отечества требует непременно кровавой жертвы, занимала огромное место, а у Печерина, как видим, первое. Герцен рассказывает, что в юности, представляя себе воображаемый разговор с императором Николаем, он мечтал, что выскажет царю всю суровую правду, подобно маркизу Позе при свидании с королем Филиппом – у Шиллера. Его воображе-

ние останавливалось на картинах собственной казни или гибели в сибирских рудниках, возможность же триумфа добра над злом не являлась даже в мечтах. «На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?» (Герцен VIII: 84).

Примечательны и самоотождествление с Иисусом Христом и подмена искупительной жертвы Христа хотя неопределенным, но более осязаемым благом отечества. И наконец, мечта о зрителе, осознание театральности исторической мистерии, в главной роли которой каждый юный романтик видел себя. Театральность станет одной из заметных тем мемуаров Печерина, как и Герцена, часто соединяющего сцену и жизнь, обращающегося к метафоре театра в описании значительных эпизодов своей жизни. Непосредственно за описанием пережитого в детстве потрясения от знакомства с историей распятого Христа, Печерин рассказывает о своем театральном дебюте. Офицеры зимовавшей в Килии Дунайской флотилии завели любительский театр, и в роли ребенка в пьесе чрезвычайно модного тогда немецкого драматурга Коцебу на сцене появился маленький Печерин, получивший за выученные слова два калача в награду. И наконец, перечень достопамятных событий двенадцатого года завершает-

ся упоминанием пальбы из пушек по случаю известия об изгнании французов из России. Этот односторонний набросок никак не указывает на желание автора описывать «постепенное, медленное, многосложное развитие духа». Еще менее его заметки будут похожи на «целую историю философии», которая требовалась, по его словам, для того, чтобы «размотать тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимой логикой жизни» (РО: 148). Пересказывая свою историю, переплетенную с историей европейской мысли, Печерин обращается к знакомому жанру устной проповеди, передавая ее в форме иллюстраций, примеров; это история в «картинках и диалогах».

С самого начала Печерин формулирует концепцию единого смысла своего духовного развития, роковую предопределенность каждого жизненного шага. В этом отношении создаваемый им характер соответствует центральному образу русской литературы романтического периода с его глубокой верой в судьбу – сначала в свое особое историческое предназначение, а затем, после серии поражений и разочарований, в неумолимый, но неизменно внимательный к его существованию рок. Для Печерина было чрезвычайно важно доказать, что, вопреки мнению Герцена, он не случайно оказался на Западе, не «ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края» (Герцен, IX: 132), а осуществлял некое предназначение. Особенно четко идея предопределения выражена в первых автобиографических набросках,

написанных сравнительно скоро после знакомства с мемуарами Герцена и в надежде на публикацию в России.

Как пишет Лидия Корнеевна Чуковская, «Герцен написал четыре части, в которых изобразил развитие, рост героя – самого себя, изобразил полученное им воспитание – воспитание в узком, домашнем, и в самом широком, общественном смысле» (Чуковская 1966: 19–20) для того, чтобы объяснить, какие впечатления сформировали его сознание. Потребовались четыре части «Былого и дум» для подготовки читателя к пониманию смысла пятой части, задуманной как история личного конфликта, имеющего, по мысли автора, общественное значение. В результате «Былое и думы» оказались книгой по истории России и Европы первой половины XIX века, переданной через личное восприятие. Герцен искал закономерности в истории, Печерин – в своей жизни. Разделяя убеждение Герцена в исторической и общественной значимости своего личного опыта, понимая, что история мыслящей личности неотделима от всей истории времени, от политической и философской картины мира, он не может предложить ничего сопоставимого с мемуарами Герцена по насыщенности событиями, характерами, идеями, мыслью. Он находит свой особый подход. На протяжении лет, когда писались его записки (1865–1874 гг.), Печерин менял свой замысел, сводя «историю философской мысли» к истории собственного душевного мира. На страницах печеринских воспоминаний, в отличие от его писем к Герцену 1853 года, в

которых он выступает с четкой и убедительной критикой социалистических идей и о которых будет говорить далее, нет развития мыслей, он не пытается формулировать какие бы то ни было убеждения. В его задачу входит другое. Он с мягкой иронией пишет обо всех своих увлечениях, нигде не углубляясь ни в развитие своих прошлых, пусть ошибочных, идей, ни в серьезную их критику.

Рассказу о детстве посвящено чуть больше десяти страниц, разделенных на отдельные эпизоды и образующих «толстовскую» триаду: детство, отрочество, юность. Герцен, влияние которого на записки Печерина очевидно, приступил к работе над первой частью «Былого и дум» в октябре 1852 года, всего несколько месяцев спустя после окончания Толстым «Детства» (июль 1852). Это было исторически закономерное совпадение: рассказ Герцена о своем детстве относится к тому же периоду повышенного интереса к мемуарам, автобиографическим запискам, когда внимание к исторической и психологической репрезентации личности вело к бурному поиску новых жанровых средств. В пятидесятые годы создавались произведения, стоящие на пересечении жанров – воспоминаний, биографии, воспроизведения устного повествования. Заметки Печерина демонстрируют подобные же поиски жанра, он экспериментирует то с жанром исповеди, превращая ее из истории обретения истины в историю ее утраты, то впадает в обличительный тон, то, как бы забывшись, создает короткие наброски «с натуры» – дра-

матические сценки; вводит в свой рассказ множество случайных персонажей, никак не требуемых «историей философии». «Замогильные записки» Печерина представляют собой увлекательное, иногда близкое к жанру плутовского романа, описание странствий свободного духом мечтателя. И в то же время Печерин выявляет в них центральную тему своей жизни и организует вокруг нее все повествование.

* * *

Насколько серьезно Печерин рассчитывал на опубликование своих записок, можно судить по тому, что только получив известие о кончине Сергея Пантелеевича Печерина, в письме от 28 марта 1867 года он посылает Пояркову отрывок «1815. Одесса в казармах», в котором рассказывает о том пагубном влиянии, которое оказала на него семейная обстановка. «При жизни батюшки неловко было писать о тех обстоятельствах, в которых заключается тайна моей жизни и без которой она осталась бы необъяснимою загадкою», — объясняет Печерин (РО: 151). В ответ Поярков пишет: «Я вполне понимал главную причину оставления вами России. Картина обстановки вашей в домашнем быту так наглядна, что не только вы бы не примирились с нею до сих пор, но даже для нас было более нежели тяжело» (Гершензон 2000: 504).

На протяжении всей «апологии» мы встречаем все но-

вые варианты объяснения «тайны жизни» Печерина, так или иначе сводящиеся к роковому стечению самых разнообразных обстоятельств, неизбежно и неумолимо определивших его жизненный выбор. Приступая к автобиографии, помня о той жертвенной, унижительной для него исторической роли, которую отвел ему Герцен в «Былом и думах», Печерин стремится показать, что жизнь его была не цепью случайных событий, а созданием его творческого духа, «свободным осуществлением внутреннего закона в личной деятельности», как напишет Гершензон об Огареве, другом представителе этого поколения, стремившегося претворить жизнь в художественное произведение (Гершензон 2000: 93).

В этом отношении Печерин следует основным требованиям жизненной эстетики романтизма. Представление о жизни, подчиненной законам искусства, каждый шаг и явление которой представляет собой творческий акт, имеющий эстетический смысл, было характерно для романтического сознания. Как пишет Гершензон в очерке о Станкевиче, «у каждого на первом плане стояла та же потребность найти и воплотить в собственной личности высший смысл бытия» (Гершензон 2000: 78). В наброске «Одесса в казармах» Печерин задал главный принцип подхода к раскрытию смысла и тайны своей жизни: «Я действительно был поэтом, – не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения я задумал и развил длинную поэму жизни и, по всем правилам искусства, сохранил в ней совершенное единство.

Несмотря на разнообразные события одна идея господствовала над всем – это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад, и теперь ведет путем незримым к какой-то высокой цели, где все разрешится, все уяснится и все увенчается» (РО: 149). Жажда того, чтобы разрешилось и увенчалось именно «все», то есть вера, что последняя, окончательная истина не только взыскуется, но и будет обретена, господствовала в душе не одного Печерина. То, что Гершензон пишет о Станкевиче – «на первом плане стояла теоретическая задача: уразуметь весь мир из одной идеи» (Гершензон 2000: 73), – относится не только к нему и даже не только к этому поколению: достаточно вспомнить легенду о зеленой палочке, волшебном средстве «к осчастливлению человечества», о которой рассказывает в «Воспоминаниях», написанных в 1903 году, Лев Толстой: «Как я тогда (в пять лет) верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что она будет открыта людям и даст им то, что она обещает» (Толстой 1951: 382). Жажда единого и окончательного решения всех экзистенциальных проблем, национальное чаяние неведомого совершенства, проявилось у Печерина в крайней форме. Заданная тема незримого пути, ведущего к цели, где «все разрешится и все уяснится», только к концу переписки, в середине семидесятых годов сменится убеждением в отсутствии последнего, окончательного ответа. Но до

этого этапа жизни Печерину было еще далеко. Пока же он описывает детство, в котором все события вели к одной цели, ничего не было случайного. Посещение представления трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах», в которой тирании противопоставлялась справедливость, поселило в нем «высокие идеалы театрального правосудия» (РО: 150). Обычное для художественно чувствительного ребенка разыгрывание им самим эпизодов пьесы дома, после спектакля, Печерин связывает с рождением в нем «ненависти к притеснителям». В своем воображении он становится «посредником между тиранами и жертвами» (РО: 150). Тираном не театральным, а реальным, повседневным, был, оказывается, отец.

Даже по сохранившимся письмам Сергея Пантелеевича, почерком и орфографией выдающим человека полуграмотного, можно судить, как далек отец Печерина от изысканно-барственного, образованного в духе XVIII века вельможи, отца Герцена. Тем не менее, функционально портреты отца используются авторами мемуаров сходным образом. Конечно, у Печерина были неизмеримо более веские основания сохранить неблагоприятную память об отце, нежели у Герцена, который иногда сознательно манипулирует фактами, чтобы построить архетипический литературный миф о суровом отце и запуганной, бессловесной матери¹⁰. Хо-

¹⁰ Герцен в своих воспоминаниях уделяет поразительно мало внимания матери, Луизе Ивановне Гаг (1795–1851), несмотря на то, что Луиза Ивановна всецело поддерживала сына в его убеждениях и они дружно, одной семьей, прожили бок о бок до самой ее трагической гибели.

тя Печерин, конечно, не искажает фактов: «по благому русскому обычаю, отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей», и нет оснований сомневаться в том, что он не соблюдал не только супружеской верности, но и элементарных правил приличия, делая жену и сына свидетелями своих романтических увлечений, – тем не менее, Печерин из травмирующего детского опыта, из обиды, нанесенной матери, «жертве», выводит заключение, определившее все тот же роковой шаг: «Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство мести овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома?» (РО: 151). Желание освободиться от тяжелой, сковывающей домашней атмосферы, стремление «искать счастья где-нибудь в другом месте» совершенно понятны и обычны. Но почему «фрейдистское» чувство мести, обращенное к отцу, требует разрыва не просто с домом, а с родиной, вызывает «тоску по загранице»? Странная для восьмилетнего ребенка связь между ненавистью к отцу и тоской именно по загранице. Конечно, если вспомнить традиционную для русской культуры аналогию между образом матери и образом Родины, то приведенная Печериным связь углубляет литературный характер его описания. Это необходимый анахронизм, сдвиг разновременных явлений для усиления образа беглеца, для демонстрации демонизма, в романтической

концепции необходимо присущего страннику, путешественнику, любому эмигранту, греховно отпавшему от общего тела родины¹¹.

По-разному можно прочесть историю о том, как в двенадцать лет Печерин решился бежать во Францию. Он рассказывает о событии, которого не произошло, так, как если бы его фантазии были реальностью. Какой-то офицер был женат на француженке и собирался с ней ехать за границу. Печерин вышел за ворота, надеясь их увидеть, но никого не увидел. Печерин передает всю историю прямой речью, придавая ей осязаемость: «Как только они поедут, – думал я, – я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: "Je suis un pauvre petit enfant – je veux aller en France – prenez-moi avec vous!"» [Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собою!] (РО: 151). Вероятно, такой случай был, и, возможно, ребенок действительно мечтал уехать в экипаже куда-нибудь далеко-далеко. Но не надо забывать, что пишет это не наивное дитя, а профессиональный литератор и поэт, опытный проповедник. Эта сценка служит эпиграфом к последующему рассуждению о таинственной над ним власти заграницы, в особенности, Франции.

Идеи энциклопедистов, пафос французской революции, французская литература имели огромное влияние на фор-

¹¹ См.: Сандомирская 2001. Автор дает развернутый анализ концепции родины в русской культуре и рассматривает религиозные и исторические истоки демонизации изгнанничества как богоотступничества.

мирование взглядов нескольких поколений дворянской интеллигенции. Но в 1819 году Печерин еще не был с ними знаком. Домашнего учителя Кессмана, оказавшего на него радикализирующее влияние, еще не было рядом. А первой французской книгой его был перевод английского романа Радклиф «Лес» (The romance in the forest, 1791). Начав учить французский в десять лет, «с величайшим наслаждением» изучив французский «Журнал для детей», вскоре он уже читал по-французски популярную философскую утопию Ф. Фенелона «Телемак» и трагедии Расина. Нет, не эта литература имела на него такое чрезвычайное влияние, а все тот же таинственный голос: «С самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам – какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду» (РО: 152). Удивительно, как мастерски Печерин организует коротенький рассказ о своем неодолимом, судьбоносном, таинственном влечении на Запад. Он упоминает дальше о том, что даже в пятилетнем возрасте, в день Рождества, при оглашении манифеста о победоносном завершении Отечественной войны и разгроме «Великой армии» Наполеона, «когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от Галлов и с ними двадцати языгк», он «про себя молился за французов и просил Бога простить им, если они заблуждались!» (РО: 152). Конечно, его природный идеалистический нонконформизм далек от желания Смердякова, чтобы «нас тогда покорили эти са-

мые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» (Достоевский XIV: 205). Важно помнить, что все, о чем рассказывает Печерин, писалось в те же годы, когда Достоевский работал над «Идиотом» (1867–1868) и «Бесами» (1870–1871), что мемуарист имеет дело с теми же идеями, на которых воспитывалась и которыми жила вся русская интеллигенция. Поэтому пересечение образов, сходство реакций, параллелизм мыслей со многими авторами классической русской литературы не случайны. Мистический характер своего влечения к Западу Печерин будет подчеркивать неоднократно, но особенно четко провиденциальность его пути обозначена в первых автобиографических набросках, когда он начинал строить тот литературный образ, имидж, который хотел представить читателям в России. Покуда он пишет о временах отдаленных, язык его принимает формы, свойственные описываемой эпохе. В 1867 году он, давно уже подписчик и читатель герценовского «Колокола», посылая Пяркуву очередной отрывок, с интонацией сентиментализма эпохи Карамзина восклицает: «Может быть, когда меня уже не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: "Этот человек достоин был лучшей участи!"» (РО: 150). А завершая рассказ о детстве, в таком же тоне обращается к чувствительному читателю: «Какая тайна развитие человеческого растения! Почему это семя пустило

корни в таком, а не в другом направлении? (...) Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, быть может, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!» (РО: 152). Так, казалось бы незаметно, Печерин подводит читателя к другой ловушке. На этот раз в качестве неведомой силы, ведущей его в изгнание, оторвавшей от России, выступает пресловутая «среда», которая «заедает» лишнего человека.

Глава вторая

«Я не могу не цитировать Шиллера»

Печерин часто рассматривается как живое воплощение литературного образа лишнего человека. Хотя формула «лишний человек» принадлежит И. С. Тургеневу, избравшему самохарактеристику своего героя для названия повести «Дневник лишнего человека» (1849), она оказалась применима ко множеству совершенно разных характеров, созданных за десятилетия до тургеневской повести: к Чацкому (1824), Онегину (1830), Печорину (1840), Бельтову (1847), а также к тем, кто появился во второй половине девятнадцатого и даже в начале двадцатого века. Герой Тургенева называет себя лишним не потому, что он отличается от всех остальных, «нелишных», а именно потому, что он таков, как все, одним больше, одним меньше, неважно: «Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей» (Тургенев V: 143).

Чулкатурин, в отличие от «подпольного человека» Достоевского, своего литературного потомка, не понимает, что лишним его сделала постоянная саморефлексия, что она результат болезни, но не болезни любви, как он считает, а болезни «человека, усиленно сознающего» (Достоевский V: 104). Не называя своего недуга рефлексией, он однако догадывается, что в основе его страданий лежит «излишнее са-

молюбие», ведущее за собой мнительность, застенчивость, склонность «искать свое место не там, где бы следовало» (Тургенев V: 144). Пожалуй, трудно назвать какое-либо значительное произведение девятнадцатого века, в котором внимание не было бы сосредоточено на герое, который не находит своего места в жизни, несмотря на, казалось бы, все данные для успеха. «Лишний человек» стал неотъемлемым понятием любой истории русской литературы. Самой существенной чертой «лишнего человека» можно считать его вольный или невольный нонконформизм. Нежелание, неумение или невозможность принять жизнь такой, как она есть, бунт против всеми принятого порядка вещей объединяет таких разных героев, как Онегин и Обломов, Печорин и Лаврецкий. Как ни разнообразны и глубоки характеры известных литературных персонажей, они выделяются именно своим положением аутсайдеров в окружающем мире. Такой взгляд позволяет включить в литературную традицию «лишнего человека» Обломова, Анну Каренину и солугубовского Передонова, Николая Кавалерова Олеси и Юрия Живаго Пастернака¹².

Предполагаемо маргинальный в обществе, в литературном мире образ лишнего человека занимает настолько доминирующее положение, что если судить по русской литературе, то весь смысл и интерес жизни был сосредоточен на

¹² См.: Ellen B. Chances. *Conformity's Children: An Approach to the Superfluous Man in Russian Literature* // Slavica Publishers. Ohio, 1978.

неврастениках, неудачниках и бездельниках. Те, кто управляли государством, вели хозяйство, служили в армии и на государственной службе, никогда не становились центральными персонажами русского романа. Как ни органичен и ни убедителен лермонтовский Максим Максимыч, как ни тесно связан образ Платона Каратаева с философией Толстого, писателей притягивают к себе фигуры бунтарей и нонконформистов, именно к ним обращено внимание читателя. Впрочем, все без исключения авторы самым ходом романного действия приводят своих симпатичных, но чем-то ущербных героев к жизненному поражению. В результате яркий и сложный образ «лишнего человека» занял в сознании русского читателя центральное место, заставил идентифицировать себя с Онегиным, Печориным и даже с «подпольным человеком» Достоевского, а не с наивным и органически мудрым Максимом Максимычем или, тем более, с цельным и мужественным Петрушей Гриневым. А ведь они считаются подлинным выражением русского национального характера в его идеальном воплощении.

В «лишнем человеке» русской литературы прослеживаются европейские литературные корни, от шекспировского «Гамлета» до демонического героя Байрона. Название комедии Грибоедова «Горе от ума» выражает суть конфликта, лишаящего героя возможности «найти свое место». Поскольку власть идеи, тирания мысли и порожденная ею «сатанинская гордость» заставляют героя выше всего ставить

свою личную свободу, свою индивидуальность, он обречен на одиночество, несмотря на то, что сознание его требует общности с какой-либо группой единомышленников, учеников, последователей. Более того, сильно развитая индивидуальность особенно страдает от одиночества, поскольку ее жажда встречи с «родной душой» обречена оставаться неутоленной. В общественной жизни русского общества царил культ дружбы, также заимствованный из немецкого романтизма, но он укреплялся не романтическим, а вполне реальным сознанием уникальности встречи «родных душ» в стране, где хорошее образование и прогрессивные взгляды могли быть уделом избранного меньшинства. Способность вступать в подобные отношения и сохранять их живыми требует особого таланта, которым обладал Герцен – примером чему его отношения с Огаревым и Н. Захарьиной. Но то, что достойно и привлекательно в жизни, в литературе может казаться незанимательным и даже слащавым. Литература воплощает конфликт, возникающий из жажды принадлежать сообществу – от светского или семейного круга до революционного кружка – и невозможности отказаться от эгоизма индивидуальности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.